

tures; the words begin to scream, squeak, cry, whisper and mutter, binding us with the invisible threads of mimetic resonance <...> to the inner dimension of catastrophic space. Indeed, these threads of fear transform us as readers into others, into animals, and we become those creatures on the surface of our skin.<sup>3</sup>

Far too little of Valery Podoroga's work exists in translation. The global culture industry that prevails today does not take risks. Relevance, not marketability, is a philosopher's concern, and in terms of the former, Podoroga's contribution is extraordinary. Recently (May, 2006) Helen Petrovsky organized a conference on media and visual studies at RGGU that brought our group together, giving me the opportunity to listen again to Podoroga, and share philosophically our experiences of contemporary events. In fact he spoke specifically about «the event,» giving a phenomenological analysis of time, perception and power in the changed context of mass media. I was struck again by his capacity to philosophize out of the everyday, bodily experiences of cultural life, making them appear both utterly strange, and utterly familiar. He demonstrated his capacity to address a new audience, a philosophical community whose potential is repressed by the political, cultural and economic power of the media. He made us feel its presence, not as a simulacrum, but as flesh and blood.

It is a pleasure to participate in this issue of  
*Sinii Divan*, and to pay tribute to Valery  
Podoroga in appreciation of the historical  
role that he plays in Russian  
philosophy. In friendship  
and great esteem, Valery,  
I toast you:  
*Za vstrechu!*

<sup>3</sup> Ibid.

Сюзан Бак-Морс

## *Познающее тело\**

Мы познакомились с Валерием Подорогой в мае 1987 года на одном из случайных перекрестков жизни. Я приехала в Москву, не имея особых планов: моего мужа, физика, пригласили прочитать доклад в Институте Ландау, а я его сопровождала. Только что мною была завершена книга о Вальтере Беньямине, и посещение Москвы, социалистической столицы двадцатого столетия, куда Беньямин приезжал шестьдесят лет назад, вполне соответствовало моему расположению духа. Впрочем, благодаря московским интеллектуалам туристом я пробыла недолго. На второй день, через родственника одного математика из Института Ландау, я попала в Институт философии на Волхонке и была представлена небольшой рабочей группе, философскому кружку, в центре которого находился Валерий Подорога, молодой, но уважаемый ученый, старший научный сотрудник сектора Философских проблем политики. Подорога написал диссертацию, посвященную Теодору Адорно, и это нас объединяло. Он прочитал мою книгу об Адорно; то, что книга оказалась в наличии в библиотеке Ака-

\* Текст написан на основе материала из книги: *Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000).

демии наук, было для меня столь же удивительно, насколько удивило Подорогу мое неожиданное появление в Институте – не было ни официального приглашения, ни обычного в таких случаях визита в составе группы борцов за мир.

Подорога вел тогда «подпольный семинар», который пользовался все большей популярностью в Институте; здесь серьезно разбирались идеи философов и теоретиков, до того момента отвергавшихся как «буржуазные»: Кьеркегора, Ницше, Гуссерля, Хайдеггера, Фрейда, Мерло-Понти, Барта, Адорно, Бенямина, Фуко. Подорога не был единственным в Москве, кто находился под влиянием европейской континентальной философии, ни даже единственным философом, кто писал об Адорно. Но уникальность его и его соратников заключалась в том, что они использовали методы западных теоретиков, чтобы предпринять долгосрочный критический анализ советской культуры. Оставляя позади критику *политического* тоталитаризма, группа Подороги открывала совершенно новую область для исследований. Особенно много почерпнувший из теорий франкфуртской школы и Мишеля Фуко, их проект состоял в том, чтобы осуществлять критику власти, отталкиваясь от феноменов культуры – архитектурных форм, литературных текстов, кинематографических практик и способов повседневного существования, – и именно здесь наши интересы близко соприкоснулись.

Потом был обед в доме Подороги; там я познакомилась с Михаилом Рыклиным, коллегой и другом Валерия со студенческой скамьи, когда они оба работали под началом замечательного грузинского экзистенциалиста Мераба Мамардашвили. Рыклин пустился в лекцию о беняминовской книге «Происхождение немецкой барочной драмы» – на прекрасном немецком языке. Я только осваивала азы русской грамоты, но мы могли свободно общаться на немецком, французском, английском языке со многими сотрудниками Института философии – при том что большинство из них никогда не бывало за границей. Однако уровня настоящей интеллектуальной строгости наше общение достигло благодаря переводу работавшей с Подорогой аспирантки Елены Петровской, которая в детстве ходила в Нью-Йорке в англоязычную

школу при ООН. Петровская – она писала тогда диссертацию об образе индейца как «другого»-врага в американском интеллектуальном ландшафте – переводила на наших официальных переговорах и во время дружеских бесед. С ее безупречным американским английским она не просто переводила наши слова, но передавала сами движения наших душ поверх языковых барьеров.

Было много других – философов и художников, – с кем я познакомилась во время последующих приездов, но эти три человека станут осью, вокруг которой будет вращаться наше сотрудничество: Валерий Подорога, самобытный и загадочный, блистательный и харизматичный, порой резковатый и неловкий – образец русского философа; Михаил Рыклин, всегда готовый к общению, свободно владеющий четырьмя языками, поражающий своим знанием различных теоретических традиций, которые он, не без удовольствия, опровергал с подлинно ницшеанским черным юмором; Елена Петровская, способная перерисовать импрессионистское полотно с тем же навыком к подражанию, с каким она переводила текст; сама по себе блистательная; рано воспитанная в ощущении того, что она была дома по обе стороны мира, разделенного холодной войной. В этих личностях отразились те объективные возможности, которые существовали в то время. Как подлинно русский философ, Подорога искал в западных теориях тактические средства, которые помогли бы раскрыть прошлое собственной национальной культуры в ее пред- и после-революционных формах. Рыклин, со своей стороны, ощущал себя большим космополитом, поддерживая интеллектуальный и эстетический авангард, будь то в Москве или Париже, Берлине или Нью-Йорке. Петровская предвосхищала появление новой синтетической личности, свободно выбирая ценности Востока, равно как и Запада. Она любила Москву, но в особенности за ее вклад в мировую культуру. Поскольку материальная сторона Запада Елену мало интересовала, она воспользовалась преимуществом поездок за границу ее семьи с единственной целью – собрать коллекцию современных изданий, которой позавидовал бы любой западный ученый; этой коллекцией пользовались все ее московские знакомые.

Благодаря духу гласности институциональное положение Подороги упрочилось, и это помогло нашей случайной встрече перерасти в пятилетнее сотрудничество. Решительным образом на мое желание работать вместе повлиял тот факт, что я была воспитана на западном марксизме. Но марксистская ориентация как раз мало интересовала московских коллег. И это при том, что академическая философия была открыта влиянию со стороны изощренных марксистских теорий, свободных от марксистско-ленинской идеологии. (Простой советский человек самого Маркса едва ли читал.) Французский марксист Луи Альтюссер приезжал в Институт философии еще при Брежневе; реабилитацию Дьёрдя Лукача подтверждал недавний перевод его книги об эстетике. Но все же эти мыслители значили куда больше для старшего поколения, чем для тех, с кем все больше и больше контактировала я. В Советском Союзе к поколению «шестидесятников» относились родители Петровской и, разумеется, сам Горбачев. Эти люди родились при Сталине, их детство совпало с войной, а зрелость – с эпохой хрущевских реформ. В пору студенчества они открыли для себя рукописи молодого Маркса-гуманиста, а многие из них позже сочувствовали духу Пражской весны 1968-го – призыву строить «социализм с человеческим лицом». Между советским «поколением шестидесятых» и другим, западным, с которым была знакома я, участь в Соединенных Штатах и Германии в самом конце десятилетия, обнаружилось несовпадение во времени. Мои ровесники Подорога и Рыклин уже не причисляли себя к неомарксистам горбачевского поколения. Но если их политические убеждения и отличалась от моих, то способы наших критических разборов были близки. Мы исходили из того, что культура в своей основе политична и оказывает материальное воздействие на тело. Идеология массовой утопии не столько маскирует машину современной власти, сколько производит последнюю. Характерной чертой новейшей политики было то, что она содержит в себе возможность для злоупотребления властью против коллектива и одновременно во имя его. Подобные проблемы не смогли разрешить ни западный капитализм, ни советский социализм.

Мы встречались регулярно с 1988-го по 1993 год: проводили

конференции в Институте философии и нескольких американских университетах, готовили визиты в Москву других западных философов (Жака Деррида, Фредрика Джеймисона, Жан-Люка Нанси). В напряженном политическом климате октября 1990 года у нас состоялась историческая встреча в Дубровнике, куда приехал Мамардашвили – всего лишь за месяц до своей внезапной смерти. Наши интеллектуальные дебаты политически становились все острее: коммунистические режимы терпели крах. Исход исторических событий был неясен, будущее казалось непредсказуемым.

Эти встречи сильно повлияли на каждого из нас, но наша работа вместе не составляет в целом философскую школу. Скорее, мы двигаемся в одном направлении – к той точке, где сходятся немецкая критическая теория и французский экзистенциализм. Это материалистический подход к метафизике, и акцент здесь ставится на познающем теле; Рыклин назвал это «несводимостью телесных феноменов», которая вынуждает нас «мыслить кожей». Такая философская антропология есть эстетика в исходном смысле слова, еще не сведенном к художественной оценке. Петровская анализировала живописные техники, позволяющие Гойе и Пикассо воспроизводить не просто факт, но телесный *опыт* политического насилия и изображать его ужасы так, что они выбивают почву из-под охранительного дискурса другого-врага. Подорога показывал, как некоторые произведения искусства «заново открывают, или, если быть более точным, *изобретают* пространство и время катастрофы», которые утаивает официальная культура: «Беззвучно кричащий рот на картинах Бэкона пронимает любого: человек настолько поглощен процессом производства звука, что сам звук невозможно услышать, – это как боль, которая охватывает страдающего, но остается неощутимой для всех остальных»<sup>1</sup>.

Для меня вершиной философствования Подороги остается именно эта способность заставить культуру говорить на языке метафизики, причем материальная и историческая специфика этого

<sup>1</sup> Цитаты я воспроизвожу по тогдашним моим записям.

языка такова, что он оказывается настолько богат политическими смыслами, насколько само высказывание лишено прямой политической цели. Подорога обладает неповторимой и мощной способностью продумывать проблему до конца. Не один раз на моих глазах он превращал литературную или художественную критику в философский динамит, взрыв которого по-новому освещал метафизические проблемы. Зло в современном мире представлено не только как намеренно причиняемая боль, но и как забвение этой боли в культуре: это не только факт Освенцима, но и будничность его ужасов. Эта реальность воскрешается в произведениях искусства, в которых катастрофы истории отпечатаны на живом теле и производят то, что Подорога называет «мутантными формами»: «Герои беккетовских пьес – тела-калеки, теласкелеты, тела-заики – изображают наши новые тела – те, что пережили катастрофу Освенцима»<sup>2</sup>. Именно свою, постсоветскую, ситуацию имеет в виду Подорога, когда обнаруживает в текстах Кафки то, как «язык старых имперских учреждений ведет непрерывную войну с языком национальных меньшинств»:

Этот язык насыщен страхом; вслушайтесь в него: преодолев естественный порог слуха, мы начинаем «видеть» сами звуковые жесты; слова начинают визжать, пищать, кричать, шептать и бормотать, привязывая нас невидимыми нитями миметического резонанса <...> к внутреннему измерению пространства катастрофы. В самом деле, эти нити страха превращают нас как читателей в других, в животных – мы становимся ими на поверхности нашей кожи<sup>3</sup>.

Слишком немного из трудов Валерия Подороги существует в переводе. Господствующая сегодня глобальная индустрия культуры на риск не идет. Философу же нет нужды быть конкурентоспособным, главное, чтобы его труд соприкоснулся со своеобразием исторического момента: по этим меркам вклад Подороги

<sup>2</sup> Подорога В. «Феномен Освенцима в герменевтическом опыте Адорно», рукопись.

<sup>3</sup> Там же.

трудно переоценить. Недавно, в мае 2006 года, Елена Петровская организовала в РГГУ конференцию по медиа и визуальности: наша группа снова собралась вместе, и я опять смогла услышать Подорогу и обсудить с ним на философском языке то, как мы переживаем современные события. Кстати, именно о «событии» и говорил Подорога: он проделал феноменологический анализ времени, восприятия и власти в изменившемся контексте средств массовой информации. И меня вновь поразило его умение философствовать исходя из повседневных, телесных опытов культурной жизни, что делает их одновременно предельно чужими и предельно близкими. Он показал, что способен обратиться к новой аудитории – к философскому сообществу, чей потенциал подавляется политической, культурной и экономической властью СМИ. И Подорога заставил нас ощутить присутствие этого сообщества – не как симулякра, но во плоти.

Мне особенно приятно участвовать в этом выпуске «Синего дивана» – воздать должное Валерию Подороге и оценить ту историческую роль, которую он играет в русской философии. Как друг и с величайшим уважением к тебе, Валерий, произношу я мой тост:  
*Za vstrechu!*